

Этнография, этнология и антропология

УДК 39(=512.37)+94(571)

DOI 10.37386/2413-4481-2020-4-95-100

Э.-Б. Гучинова

Калмыцкий научный центр РАН, г. Элиста, Россия

ДЕПОРТАЦИЯ КАЛМЫКОВ В СИБИРЬ (1943—1956 гг.): УСТНЫЕ РАССКАЗЫ КАК МЯГКИЕ ФОРМЫ ПАМЯТИ

Статья посвящена еще недостаточно исследованным антропологами и социологами аспектам депортации калмыков в Сибирь (1943—1956 гг.) и памяти об этом. Предлагаемая публикация представляет собой текст и комментарии биографического интервью 2005 года в п. Буратинский Республики Калмыкия, проведенного в рамках исследовательского проекта «У каждого своя Сибирь». В ней показаны стратегии выживания и адаптации юного поколения спецпереселенцев в местах вынужденного проживания, чувства и мысли взрослеющего юноши. К тексту спонтанного интервью был применен текстологический анализ и метод деконструкции текста.

Ключевые слова: репрессии, устная история, Сибирь, депортация, калмыки, нарратив, политики памяти, дискурс, историческая политика.

E. Guchinova

Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Elista, Russia

DEPORTATION OF THE KALMYKS TO SIBERIA (1943—1956): ORAL STORIES AS SOFT FORMS OF MEMORY

The article is devoted to the aspects of the Kalmyks' deportation to Siberia (1943-1956), which have not yet been sufficiently studied by anthropologists and sociologists, and the memory of this. It shows the strategies of survival and adaptation of the young generation of special settlers in the places of forced residence, the feelings and thoughts of a growing-up young man. Textual analysis and the method of text deconstruction were applied to the text of the spontaneous interview.

Key words: repressions, oral history, Siberia, deportation, Kalmyks, narrative, politics of memory, discourse, historical politics.

Депортация калмыков – важная тема для калмыцкого народа, она появилась в публичном пространстве только в эпоху либерализации и всегда зависела от исторической политики государства. Под исторической политикой понимается «набор практик, с помощью которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации политических событий как доминирующие» [1, с. 10]. В зависимости от того, как менялись задачи исторической политики, изменялись акценты в освещении истории депортации профессиональным сообществом или журналистикой.

В этой статье используются теоретические положения Джеффри Александера, особенно его концепт позитивных и негативных нарративов травматических событий [2], определения А. Эткинды мягких форм памяти, представленных текстами,

спектаклями, и твердых форм памяти, представленных памятниками. В понимании того, как тема депортации калмыков отражалась в общественной повестке в рамках исторической политики государства, автору помогли идеи Николая Эппле о трудном прошлом, как он назвал преступления государства и особенно его периодизация политики памяти в России с середины XX в. по наше время [3]. Действительно, в ельцинский период истории России, когда шла борьба за электорат страны, был острый запрос на публикации о преступлениях ВКП(б), о массовых репрессиях и геноциде против разных социальных и этнических групп. С 1999 г. вместо ельцинской конфронтационной политики памяти была предложена политика, интегрирующая представителей разных групп населения, что было способом сплотить российский электорат [3, с. 38].

В 2004–2019 гг. автор статьи собирала в Калмыкии, Москве и Санкт-Петербурге спонтанные автобиографические интервью с упором на годы депортации, объединив их в проект «У каждого своя Сибирь». В проект вошли интервью с мужчинами и женщинами достаточно случайной выборки – было важно учитывать поколенческий фактор, чтобы респонденты принадлежали к разным поколениям депортированных: к первому поколению, высланных взрослыми (старше 10 лет), на которых легла основная нагрузка, высланных детьми (до 10 лет), для которых тяготы не были такими трудными, и родившихся в Сибири, для которых первая социализация уже проходила за Уралом – это поколение может быть названо «поколением полтора» (Г. Шагоян). Все собранные нарративы – это примеры мягкой памяти [4, с. 228], которая не имеет четкой формы, а часто меняется в зависимости от политической погоды и ближайшей социальной цели (П. Коннертон). Интервью с Б.М. Корнусовым было записано в п. Буратинский в Республике Калмыкия в 2005 г.

Рассказ Бадмы Манджиевича – повествование самого обычного человека, типичного для своего поколения калмыка, рожденного в 1933 г.: отец не вернулся с фронта, у матери пятеро детей, и с 11 лет парнишке приходилось работать на равных со взрослыми, так что в 13 лет он себя уже чувствовал взрослым. Отучившись в Калмыкии три класса, Бадма уже не имел возможности продолжить даже среднее школьное образование, он понимал, что на пайки иждивенцев при двух работающих членах всей семье не прожить. У каждого из калмыков возраста автора статьи найдется или был такой дядя среди родственников – работающий, толковый, мастер на все руки, при этом молчаливый, скромный и добряк.

Уже с первых предложений мы видим, как изменились калмыцкие топонимы и личные имена, рубежом этих изменений стала депортация народа, а точнее Указ от 27 декабря 1943 г. «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР» [5, с. 18–19]. Родовые названия населенных пунктов (например, Мангнан Богдахн) теряют свои значения и приобретают названия организованных в нем совхозов или колхозов, которые должны также отвечать классовому духу времени, как и колхоз «Чик халг» – «Верный путь», в котором жили Корнусовы. На конец 1943 г. отец, призванный на фронт в 1941 г., пропал без вести, извещение пришло зимой 1942 г. Кроме старшего брата Эрендже-на, которому на момент выселения было 17 лет, остальные братья и сестра получили в Сибири

русские имена, видимо, вошедшие в документы и ставшие официальными: Кююка стала Лидой, Анжа – Адиком, Оча – Алексеем. Сам Бадма Манджиевич также получил в Сибири иное имя – Борис и, только вернувшись на родину, вернулся к старому – настоящему имени.

Перед нами еще один пример того, как работает травматическая память: самые тяжелые травмы (С. Ушакин) остаются в памяти подробнее и занимают в нарративе больше времени [6, с. 285]. Рассказчик хорошо помнит обстоятельства изгнания из дома, несмотря на то, что он русского языка тогда не понимал, всей семье переводил на калмыцкий язык старший брат. Респондент перечисляет нажитое добро, что семья Корнусовых не смогла взять с собой. А что это было, кроме швейной машинки и большого сепаратора? Самая важная, самая ценная собственность для недавних кочевников – это скот: семь коров, семь телят и лошадь. Судя по достатку, семья была не бедная, значит, и овец, что паслись зимой на Черных землях, было не меньше 70, а то и сотня голов. Оставив в декабре 1943 г. свою живность в собственности государства, калмыки должны были получить на новых местах расселения такое же количество голов скота, но получили в лучшем случае по 1 корове.

10-летний Бадма, будущий комбайнер и тракторист, запомнил большую американскую машину, на которой вывозили людей из сборного пункта на станцию Дивное. Это была грузовая машина Studebaker US6, одна из тех, что были поставлены по ленд-лизу.

Перед посадкой конвоир отобрал большой казан для приготовления еды со словами «Потомки Чингис-хана» и закинул его далеко в степь. Скорее всего, русскому парню не понравился казан как материальный знак кочевой культуры, которая, видимо, ассоциировалась с фильмом «Потомок Чингис-хана» (реж. В. Пудовкин, 1928) и с теми школьными знаниями по истории СССР, в которой потомки Чингис-хана – Батый и Мамай – завоевывали Русь и навязали свое экономическое и политическое иго. Это был жест, защищавший Родину (Русь) от врагов-нехристей, представителей иной цивилизации, место которым, конечно, на востоке.

Дважды рассказчик отмечает отсутствие или нехватку мужчин при выселении и в первые годы ссылки. Это не обычная послевоенная демографическая диспропорция, а послевоенная диспропорция репрессированного народа, усугубленная тем, что в марте 1944 г. калмыков, солдат и сержантов Красной Армии, отозвали с фронта и на-

правили на принудительные работы в лагерь Широкой (Широклаг) в Молотовской (Пермской) области.

Вынужденный пойти на взрослые работы в 11 лет, Бадма с 11 лет ходил расписываться в комендатуру, хотя дети не ходили в комендатуру расписываться, но были обязаны расписываться все работающие. Так, социальный возраст и трудовые нагрузки существенно опережали биологический возраст мальчишек военного времени.

Как и многие участники этого проекта, рассказчик вспоминает о первых трудностях в контактах с местными жителями и обвинение в каннибализме, которое также имело колониальное происхождение [6, с. 109–110] и подтекст цивилизационной отсталости. Тем не менее он подчеркивает: «Нас неплохо принимали. Нельзя говорить о местных плохо. Первые два года были очень трудные. Без помощи местных мы бы не выжили. Я не помню, чтобы нас обижали. Я дружил с ровесниками, хотя я работал, а они учились в школе. Когда выросли, мы стали большими друзьями».

В приведенном нарративе рассказчик отмечает, как традиционные хозяйственные навыки и умения помогали выживать калмыкам в трудное время. Мальчики пошли в скотники, мама после работы шила – и детям, и на заказ односельчанам. Не только калмыки вынужденно вписались в хозяйство и социальную жизнь сибирской деревни, но и деревенские друзья рассказчика привыкали к калмыкам, полюбив калмыцкий чай и позже провожая их на малую родину со слезами.

Важными свидетельствами сохранения этнической культуры в изгнании стали упоминания Б.М. Корнусова о том, как праздновали калмыцкие календарные праздники, особенно о том, как гелюнги (буддийские монахи, принявшие 256 обетов) давали (с риском, что узнает комендант) новорожденным племянникам рассказчика калмыцкие имена. Эти имена были приняты, несмотря на то, что они были калмыцкие с буддийскими смыслами. Стигма калмыцкой этничности обычно вела к тому, что все калмыцкое и буддийское приватизировалось, кроме имени – его было не спрятать, но оно менялось для общества. Возможно, родители понимали, что в русскоязычном обществе все равно малышей переименовывают, а с благословенным именем у ребенка больше шансов выжить.

В этом нарративе есть и специфика, характерная для калмыцкой устной традиции. Заканчивая свое повествование, рассказчик подводит некоторые итоги жизни: шесть рожденных в Калмыкии

детей – это и есть хороший жизнеутверждающий результат, перекрывающий трудности сибирских лет.

Приведенный нарратив – позитивный в терминах Дж. Александра. Все трудности выселения пережиты – с помощью труда и заботы друг о друге в семье Корнусовых. Не виктимизируя свой опыт, как это встречается до сих пор в социальных сетях, Бадма Манджиевич рассказывает, что в их вагоне все доехали без потерь, что было трудно в первые две зимы, но как все выжили: шесть семей выехали, так те же шесть семей вернулись.

Устные рассказы как мягкие формы памяти часто меняют свои смыслы в зависимости от «политической погоды», что часто наблюдаем в рассказах профессионалов пера. А рассказ Б.М. Корнусова – искренний, бесхитростный, в котором повествующий не стремится показаться больше, чем он есть – многое говорит не только о сибирской эпопее высланных калмыков, но и о самом рассказчике – о достоинстве скромного человека труда в любых, даже самых трудных ситуациях.

Б.М. Корнусов

В 1943 г. наша семья жила на первой ферме совхоза «Буратинский», которая называлась тогда «Манган Богдахн». В семье нас было пятеро детей: мой брат Энчан (Эренджен, 17 лет), я (11 лет), двое братишек Оча (Алексей, 5 лет) и Анжа (Адик, 2 года) и сестренка Кююка (Лида, 8 лет). Я учился в 3 классе, школа находилась в колхозе «Чик хаалг», по-русски переводится как «Верный путь» (п. Оргкин) в 5 километрах. Нашей маме Корнусовой Болхе было 38. Отец пропал без вести на фронте. Мы получили извещение осенью 42 г., перед зимой.

Я хорошо помню, что вечером 27 декабря на ферму приехали машины. Мы внимания не обращали на них. Ночь прошла. Утром встал, мне надо в школу идти. Мать чай сварила. Я попил чаю и выхожу из дому. Два солдата у нашего дома кричат: «Здравствуйте». Я по-русски не говорил. Они разворачивают меня обратно домой. Мой брат Энчан еще спал. Солдаты с ружьем поднимают его, обыскивают его и все комнаты. Нашли топор и бросили его на крышу. Наша мама сама не своя. «Начинайте собираться», – говорят. Куда собираться? Что брать? Не говорят. Только приказали быстрее собираться и брать все, что есть. А что брать? Все, что было, одели. Продукты на дорогу берите, говорят, а куда на дорогу не говорят, ничего не объясняют.

Всех жителей вывели на край фермы, загнали за изгородь. Вокруг солдаты ходят, никого не выпускают. Никто не знает, почему всех согнали. Солдаты ничего не говорят. К ним и подойти было невозможно. По-русски практически никто не говорил. Наша мама совсем не говорила по-русски. Я тоже не гово-

рил, в школе мы учились на калмыцком. Брат мой знал русский хорошо, он в Элисте учился.

Было много стариков, женщин и детей. Весь день мы просидели на краю поселка. Скот у всех остался во дворе: мы слышали, как мычали коровы и телята. У нас было семь коров, семь телят и одна лошадь, на которой брат ездил. Наши овцы тогда зимовали в Черных землях (Хар газр). Все, что у нас было, все осталось: машинка швейная, большой сепаратор, скот.

Домой сбежать возможности не давали. Мы на месте костер разожгли, чай сварили. Мама посуду с собой взяла и что-то покушать: хлеба не было (надо было печь), взяла мясо, которое на зиму было заготовлено. Сгоняли всех утром, а только вечером пришла большая машина, американская. Когда уже всех сажали в машину, подошел сержант, отобрал казан и выбросил далеко. Брат спросил у солдата, почему он выбросил, тот зло ответил: «Потомки Чингис-хана». Я хорошо помню, как он выкинул казан далеко.

Посадили нас в машину и повезли. Куда везут? В Дивное. Там нас посадили в деревянные вагоны. Я до этого вагоны никогда не видел. Там были двухъярусные нары. Мы ехали долго: день-два, может быть, больше ехали. Холодно было. Когда поезд останавливался, все высаживались. Никаких ступенек не было. Солдаты стояли с ружьем. В каждом вагоне солдат всю дорогу ехал. Топилась буржуйка, но все равно было очень холодно. Воды не было. Когда останавливались, кипяток приносили. Но кто будет кипяток пить, глотнешь раз и все. Самим варить было не в чем. Мы мясо на огне поджаривали и ели. Потом туда дальше стали чуть-чуть кормить на станциях. В вагоне прорубили дырку и ходили в туалет. Один другого закрывал. Ну что делать, стыда никакого не было. Поезд остановится, все бежали справлять нужду. Никто практически не разговаривал. Я думаю, все были в шоке. Даже дети. Сидим и молчим. Все были напуганные. Солдат стоит. Я мертвых не видел. Кто болел, не поймешь. Все лежали. Были совсем маленькие дети, кёк кёгдг (грудные). В вагоне ехало много людей. Мы семьей в один угол забились, так и доехали.

Ночью нас привезли на станцию Омутинск Тюменской области, посадили в сани и снова повезли. Наверное, чтобы тепло было, нас на санях укрыли. Привезли в совхозный клуб и стали распределять. Мы попали в хорошую семью: мать с дочкой жили в большом доме, в которой было две комнаты: прихожая и горница. Нас поселили в горнице, а сами хозяйка поселились в прихожей. В доме было тепло, хорошо. Они боялись нас. Дочь была такого же возраста, как и я. Она залезет на печку под самый потолок и сидит там. Мать, наверное, была молодая, но мне казалась старой. Она была очень хорошей

бабкой. Корову подоит, молоко нам дает, чай дает. У нас ничего нет. Мясо мы свое не довели, по дороге съели, чуть с голоду не умерли. Мясо в буржуйке шарад (жарили) ели. Немного гертяс авсн монг биля (были деньги, которые мы взяли из дому), мы их потратили по дороге, покупали что-то.

Мы прожили у этой женщины полгода. Потом нам дали теплые деревянные дома. Один дом на три-четыре калмыцкие семьи. В нашем доме жили 3 семьи: нас шестеро, две семьи Молокановых: в одной 4 человека и в другой 5 человек. В двухкомнатной квартире жили 15 человек. Пилы у нас не было, а рубить дрова на улице холодно, поэтому дрова рубили в доме и топили. Было очень трудно. Это была вторая зима. В первую и вторую зимы еще ничего не знали. Не знали, что дрова надо заготавливать. Только на третью зиму заготовили. Дрова таскали из леса, благо лес недалеко был. А снега было выше колена.

Совхоз Красноярский был большой, как Буратинский. В совхозе нам дали работу на молочно-товарной ферме. Мой брат работал скотником вначале. Я стал телятником. Мать работала и сторожем, и скотником. Она вставала в 4 часа утра, все дома делает, а потом до 10 часов вечера на работе. Я видел, как трудно было матери. Когда я немного подрос, я ее заменял. Я заканчивал свою работу и шел вместо нее работать. Иногда брат заменял ее. Мама оставалась дома с младшими детьми и делала работу по дому. Мы слушались мать, боялись ее. Иногда она наказывала нас.

Я не помню взрослых мужчин калмыков в первые годы, видимо, их не было. Практически все мужчины были на фронте. Они стали появляться где-то в 47–48 годах. Мать получила извещение о том, что отец пропал без вести еще в Калмыкии, но мы забыли извещение в сундуке. Мать только бурхан (изображение буддийских божеств) взяла, а об отцовских документах забыла. Ей некогда было думать об этом.

Мой брат закончил пять классов в Элисте, а я два класса в Буратинском. Поэтому мы в школу в Сибири не ходили. Братишки учились, да и сестренка Лида ходила года два в школу. Когда мы приехали, мне было 11. Как я уже сказал, сначала я телятником работал, а потом быка запрягал и навоз возил. Было очень трудно – очень трудно работать, когда сил не хватает. Но когда года два прошло, чувствую, сильнее стал. Я чувствовал себя взрослым, хотя мне было лет 13–14 тогда. Я понимал, что надо кусок хлеба зарабатывать. На 150 гр. хлеба, которые давали иждивенцам, не проживешь, а работающим давали 350 гр.

Я утром рано отправлялся на работу, после работы приходил домой, ел, что было, а потом на улицу хотелось пойти поиграть. Одежда была плохая. Купить одежду не было возможности. Но наша мама

была рукодельница. Она брала у людей изношенную одежду и переделывала для нас. Одежда получалась как новая. Мы в Калмыкии не носили варежки, не знали, что это такое. А в Сибири был такой холод, что щеки и руки замерзали. Иногда русские давали нам старые варежки и другую одежду или мама наша шила. А летом, помню, мы ботинки на деревянной подошве носили. Потом нам стали давать спецодежду.

Наша мама шила не только для нас, а еще обшивала местных сибиряков. Помню, она дубила кожу и сшила шубы, рукавицы из собачьей шкуры.

Когда мы приехали, нас сразу же вызвали в контору и внесли в список. Записали, кто с какого года, и сказали: когда приходиться отмечаться. Если в первый раз не придете, будете сидеть 5 суток, во второй раз – 19 суток, в третий раз – 6 месяцев. Сначала два раза в месяц ходили отмечаться, потом – один раз. Я сначала с братом ходил, потом сам. Я не понимал, зачем мне нужно было в комендатуру ходить, я ведь ребенком был. Но была команда, что все, кто работает, должны отмечаться. Последние года два-три отменили. Я не помню, чтобы кого-то били, но помню, что сажали в тюрьму, которая находилась в другом поселке в 15 километрах. За пять километров из поселка выехали, сажали. Дальше пяти километров не разрешали выезжать. Кто в контору сообщал, не поймешь. Мы боялись, не выезжали.

Люди в совхозе были хорошие, очень гостеприимные, можно сказать. Сначала они думали, что мы людоеды. Дразнили нас: «Калмык свинину не ест». Они думали, мы как мусульмане. Нас неплохо принимали. Нельзя говорить о них плохо. Первые два года были очень трудные. Без помощи местных мы бы не выжили. Я не помню, чтобы нас обижали. Я дружил с ровесниками, хотя я работал, а они учились в школе. Когда выросли, мы стали большими друзьями: стали на танцы вместе ходить, концерты. Девчата объявляют: «Сегодня концерт будет», и мы все вместе идем туда. Мы чай калмыцкий варили, предлагали им, они сначала отказывались, а потом привыкли. Специально приходили к нам чай калмыцкий пить. К тому времени мы уже по-русски научились говорить. До нас в этот поселок привезли немцев, после нас латышей и западных украинцев. Много после нас привезли. Мы жили как одна семья. Когда мы уезжали, они плакали.

Местные жили хорошо, лучше нас. Там всегда был хороший урожай картошки. В первые годы мы выписывали картошку в совхозе, а потом сами 50–60 соток сажали и заготовливали на зиму. Хлеб пекли в местной пекарне. Летом в лесу собирали ягоды. Местные еще грибы заготовливали, но мы нет. В последнее время хорошо было.

В 1948 г. мы построили большой дом. Местные мастера строили. Благодаря моему брату. Мой брат был очень общительный. Сначала он работал скотником, потом бригадиром, а потом приемщиком молока. Он был грамотный. За хорошую работу моего брата отправляли в дом отдыха в Ишим. Он со всеми жил хорошо: с управляющим совхозом, завхозом. Когда дом построили, гуляли все.

В 1949 году мой брат женился. Жену он взял из Омутинска (это где-то в 18 километрах от нашего совхоза). Брат ездил по делам в Омутинск и познакомился. Мы свадьбу играли, из Омутинска сваты приезжали. Калмыцкую свадьбу играли, под добрую танцевали. Яшкульские девчата кючта (великолепные) добристы были. В Сибири у брата родились два сына и две дочери. Старший мальчик родился в 1950 г. Ему дали калмыцкое имя Содма, специально ездили к гелюнг. В 1952 г. родился второй мальчик Харцха (тоже гелюнг имя давал), а потом дочь Валя родилась в 54 г. Орс кюкюд (русские девчата) хотели дать ей имя, но мы дали ей имя сами. Галя родилась в октябре 1956 г., а 1 ноября мы выехали из Сибири и записали ее уже здесь в Калмыкии. Дети не болели.

В 1950 г. мне было 18 лет, меня вызвали в комендатуру и отправили в Тюмень работать на кирпичный завод, который работал круглосуточно в три смены, на этом заводе работали только одни спецпереселенцы (калмыки, немцы, молдаване, украинцы), жили мы в бараке. Труд был тяжелый, можно сказать, адский.

В поселке Красноярский, наверное, семей 10 калмыцких жили. Четыре семьи были с нашей фермы, остальные незнакомые. В целом около 50 калмыков было, включая детей. Из них человек 20 работали. Мы так и прожили вместе все 13 лет. Я помню только, что одна бабушка-калмычка умерла. Другие случаи не помню.

В соседнем селе, в километрах 7 от нашего совхоза, в колхозе «Комминтерн» жили наши земляки, семьи Олюшевы, Кекельдженовы, Нимеевы.

Каждую зиму калмыки праздновали Цаган Сар и Зул. Как-то один другому передавал, и все знали, когда праздновать. Мы собирались в чьем-нибудь доме, на домбре играли, пели и танцевали. В семье мы говорили по-калмыцки. Я не помню, как я научился говорить по-русски. Мама тоже немного научилась говорить. А младшие учились в русской школе, они хорошо говорили по-русски.

Мои дядьки попали в Ханты-Мансийск. Где-то в 1945 г. мы получили от них письмо, мы им тоже написали. В гости к ним мы поехать не могли, нас не выпускали. Только где-то в 54 или 55 г. мы дали им вызов, и они переехали в наш совхоз. Как раз, когда они приехали, пошли слухи, что калмыков освобождают. Брат поехал в район, и ему дали справку,

в которой было написано, что можно возвращаться в Калмыкию. Справку давали каждому отдельно, и паспорта выдали. До этого у нас не было никаких документов. Старики сразу сказали, что едем домой. Раз старики сказали, надо ехать. Документы мы получили весной, а уехали только осенью. В совхозе нас не отпускали, нужны были рабочие. В нашей семье и в двух семьях моих дядек было человек 10 работающих. Только мой брат был начальником, все остальные были скотниками. Мы отработали все лето. Нас стали снова упрашивать остаться. Обещали на следующий год отвезти. Сам директор совхоза не пускал. Мы ездили в район, там нам сказали, что никто не должен нас задерживать.

Осенью все калмыки уехали, никто не остался. Перед отъездом мы продали свой дом. Картошку, которую мы заготавливали на зиму, продали совхозу. Скот тоже продали. У нас было три коровы, три свиньи, молодняк, гуси, куры. Все продали. У нас всего было в достатке, но старики сказали, что надо ехать домой. Старики очень хотели домой. Все время вспоминали Калмыкию, все время говорили: «Наша родина, наша земля». Им даже мясо не нравилось в Сибири. А нам было все равно какое мясо, мы уже привыкли жить там.

Нас выехало из п. Красноярский пять семей: 2 семьи моих дядек, 2 семьи Молокановых и наша. Мы как вшестером приехали в Сибирь, так вшестером и вернулись в Калмыкию. Сначала мы поехали в Омутинск, там купили билеты до Свердловска, а потом до Москвы. Когда мы приехали в Москву нас встречала семья Василия Хомутникова, пожилая женщина и молодой парень, которого звали Мингиян, с горячим калмыцким чаем в термосе и борщом. Оказывается, они каждый вечер приходили, встречали поезд, чтобы увидеться с калмыками, которые возвращались из Сибири. Они долго с нами разговаривали, парень, кажется, был художником, на вокзале с нашего дяди срисовал портрет. Он нас всех фотографировал.

С собой мы взяли только чемоданы с хорошими вещами. Домой ехали радостные, танцевали, пели.

Из Москвы мы взяли билет на Ставрополь, потом прибыли в Дивное, а там уже стояли машины, которые встречали прибывающий поезд. Мы все сразу же приехали в Элисту, и в тот же день мы прибыли в с/з «Буратинский».

Из Сибири мы сразу приехали в совхоз «Буратинский», так и живем здесь. Мне было трудно привыкнуть: лето, пыль, ветер. В 56 г., когда мы приехали, зимы практически не было. Снег немного пойдет и растает. Рукавицы не нужны были, это было очень хорошо. Сначала мы поселились в бараке. Я думаю, через эти бараки прошло много людей. Некоторые семьи жили в клубе. Когда дома освобождались, семьи переезжали в эти дома. Мы построили дом в 1957 г. В этом же году я женился, мне было 25 лет, супруга моя тоже была из Буратинска. У нас родились дочь Надя в 1958 г., сын Василий – 1960 г., дочь Тамара – 1961 г., сын Надвид – 1963 г., сын Баатр – 1965 г., сын Мингиян – 1972 г.

О том, за что калмыков выселили, я узнал в Сибири, когда уже взрослым стал. Говорили, что были предатели, откуда эти предатели, никто не знал. Говорили, Огдна Баснг командовал корпусом. Они знали, что в нашем Мангна Богдахн не было предателей. Старики правительство ругали, обижались: «Сталин ягад мадниг игжахм. Мана эн овгуд, эмгчуд, би – ю гаргсм?» (Зачем Сталин с нами так поступает? Эти наши старики и я – что мы сделали?). Они сидели, говорили, а мы слушали. Я думал, что неправильно нас выслали, я при чем, при чем мой отец, который погиб на фронте. Только думал, вслух не скажешь, – посадят. Говорили, кто-то песни сочинил, и его посадили.

О Сибири остались хорошие воспоминания. Чаше всего вспоминается природа. Очень красивая: березы, ягоды, речка. Мы купались в речке, катались на лыжах. Лыжи и санки сами мастерили. Зимой было холодно, но мы привыкли. Детям я рассказываю, с какого возраста начал работать, как жили, какие трудности были. Рассказываю о природе, о ягодах, о березах, о березовом соке. До сих пор этот березовый сок не забывается.

Библиографический список

1. Миллер А. Власть и история // Pro et contra. 2009. Т.13, № 3-4. С. 6–23.
2. Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культур-социология / пер. с англ. Г. Ольховикова. М.: Практик, 2013. 639 с.
3. Эппле Н. Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 321 с.
4. Эткинд А. Кривое горе. Память о непогребенных. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 328 с.
5. Ссылка калмыков: как это было: сборник документов и материалов. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1993. 262 с.
6. Гучинова Э.-Б. Помнить нельзя забыть. Антропология депортационной травмы. Штутгарт: Ibidem, 2005. 283 с.